**Как заяц сапоги съел**

Нынешний председатель колхоза в Меринове Иван Яковлевич – великий мастер подвывать волков. Суеверные люди думают даже, что если нет в округе волков, на его вой приходят и отзываются. В этом охотничьем деле он был учеником известного по всей нашей области мага и волшебника охоты Филата Антоновича Кумачева.

Проезжая на днях возле Меринова, мы завернули к председателю чайку попить и кстати узнать, благополучно ли теперь поживает друг наш Филат Антонович. Так пришли мы в избу, поздоровались, сели за стол и, конечно, с охотником то-се про охотничью жизнь: что в начале войны охотничьи ружья почему-то отобрали, а теперь вернули, – не значит ли это, что война скоро кончится.

– Вам-то, Иван Яковлевич, – спросили мы, – вернули ваше ружье?

– Вернули, – сказал он с горечью, – только поглядите, в каком виде вернули.

Мы поглядели на свет стволы – ни одной раковины, и только в левом патроннике две, не имеющие никакого значения царапинки. Ясно было, что царапинки были предлогом, чтобы похвалиться перед нами уходом своим за любимым ружьем.

– Такое ружье, – сказал хозяин, – и такое обращенье.

– Царапинки не имеют никакого значения.

– Вам это царапинки, а мне раны, – ответил хозяин.

– Это ружье дорогое, – поддержала мужа жена его Авдотья Ивановна, – это ружье стоит, пожалуй, рублей тысячу двести.

– Что-о? – огрызнулся хозяин.

Жена поняла по строгому голосу, что ошиблась, и стала заботливо вытаскивать муху из меда.

А Иван Яковлевич покачал головой с ехидной улыбкой и сказал своей почтенной и любимой жене, что не бабьему уму судить о таких вещах, как охотничье ружье, и что есть вещи на свете драгоценные, и есть, которым и быть не может никакой цены.

– Это ружье, – сказал он значительно, – вещь неоценимая, мне подарил его сам Филат Антонович Кумачев.

И тут мы с большой радостью узнали, что не только жив и здоров наш старый друг и охотник, но еще и ведет за собой самый отчаянный партизанский отряд из своих друзей-охотников.

– В такие-то годы! – подивились мы.

– А что ему годы, – ответил Иван Яковлевич, – на то и есть мужественный человек и герой, чтобы годы свои красить. Не берут его годы.

Председатель наклонился в сторону подпечья и сказал туда, в подпечь, тихо и ласково:

– Руська, Руська.

И как только вымолвил председатель это слово, из-под печи вышел здоровенный матерый заяц-русак.
– Вот, товарищи, – сказал Иван Яковлевич, – этот заяц – не простой русак. Прошлый год я поймал его, – был меньше кошки. Держал в кадушке, на капусте вырастил, а когда осенью хотел к празднику зарезать, – что-то в этом зайце мне показалось: пожалел. И вот через этого зайца владею теперь ружьем.

– Значит, – сказали мы, – не ружье принесло зайца охотнику, а заяц – ружье.

– Кроме шуток, – ответил Иван Яковлевич, – истинно так, через этого зайца именно я свое ружье получил.

И рассказал нам историю, как заяц Руська у начальника партизанского отряда Кумачева съел сапоги.
Было это на переломе войны, когда немцы подходили к Москве, и их артиллерийские снаряды стали так недалеко ложиться от Меринова, что один попал даже в пруд. В это время отряд Кумачева затаился в лесном овраге, а сам начальник, Филат Антонович, пришел ночевать к своему ученику – председателю Ивану Яковлевичу.

– Какой же он стал теперь, Кумачев, в партизанском-то виде? – спросили мы с интересом.

– А точно такой, как был, – ответил Иван Яковлевич: – рост – колокольня, плечи – косая сажень, ну, глаз, вы знаете, у него один, другой выбило пистоном, одноглазый великан, зато какие сапоги – американские, рыжие, на крючках. И вооружение полное, и притом еще дробовик. «Зачем, – спрашиваю, – еще и дробовик-то носите?» – «А для потехи», – говорит. Вот какой молодец! И годов шестьдесят с хвостиком.

Мы подивились. Хозяин опять нам повторил, что мужественный человек свои годы красит, и продолжал свой рассказ о том, как заяц сапоги съел.

Случилось это ночью, все уснули в избе, а Руська вышел из-под печи и принялся работать над сапогами начальника. Что он там нашел себе, этот заяц русский, в том месте, где американцы своим способом соединяют голенища с головкой? За целую ночь заяц только и сделал, что начисто отделил голенища от головок. Русский заяц будто захотел понять, как надо шить сапоги на американский манер. Ну, конечно, и на головках и на голенищах тоже выгрыз пятнышки и вокруг сапогов за ночь наложил много орешков. Поутру первая встала Авдотья Ивановна. Как глянула, так и обмерла: на глазах ее заяц кончал сапоги. И какие сапоги!
– Иван Яковлевич, – разбудила она мужа, – погляди, заяц что сделал.

– Что такое заяц? – спросил спросонья муж.

– Сапоги съел, – ответила жена.

Открыл глаза спящий – и не верит глазам. А русак шмыг – и под печь. Ужаснулись супруги. Шепчутся меж собой, ахают, тужат.

– Чего вы там шепчетесь? – спросил начальник, не открывая глаз. – Я не сплю.

– Батюшка, Филат Антоныч, прости нас, беда у нас в доме, такая беда – сказать страшно.

– Что? Немцы? – вскочил начальник партизан и схватился за наган.

– Какие там немцы – заяц, заяц, родной. Погляди сам.

Поглядел начальник своим единственным глазом: головки и голенища лежат отдельно и вокруг пол усыпан заячьими орешками.

– Так это заяц мои сапоги съел?

– Так точно, батюшка, никто другой – заяц съел сапоги.

– Вредная тварь, – сказал начальник.

И надел сначала голенища, потом головки, концы же голенищ вмял под края головок. После этого оделся, умылся и зарядил дробовик.

– Ну, вызывай своего зайца на расправу. А то он и твои сапоги съест.

– Руська, Руська, – позвал хозяин.

И как невиноватый, заяц выходит, перебирает губами, глядит кругло, ждет узнать, для чего его вызвали.

Партизан в него целится. И чуть бы еще. партизан опустил ружье.

– Ты сам убей его, – сказал он, – мне что-то противно в ручного зайца стрелять.

После того поклонился хозяйке, поблагодарил, простился и вышел. А ружье так и оставил на столе заряженное, с взведенными курками.

– Значит, – сообразил Иван Яковлевич, – надо сейчас зайца убить, а ружье вынести хозяину.

Ничего не стоило зайца убить: сидит на месте, ждет и что-то жует.

Хозяин прицелился.

Вдруг Авдотья Ивановна – бац в зайца с печки валенком. Руська – под печь, а хозяин весь заряд в печь влепил.

– Ты баба неглупая, – сказал он.

И с ружьем догонять Филата Антоновича.

– Убил? – спросил тот.

– Слышали? – ответил хозяин.

– Вредная тварь в доме, – сказал Филат Антонович, – а жалко чего-то, никогда не было со мной такого на охоте, то ли, может, время такое: сегодня ты зайца, а завтра самого тебя, как зайца. Ну, ладно, убил и убил, больше он у тебя в доме не будет вредить. А ружье сам на память возьми от меня, может быть, и не увидимся, помнить будешь меня, а мне теперь уже не до охоты. Прощай.

И ушел.

В тот же день немцы пошли в атаку, и полетели у нас из окон стекла со всеми своими наклеенными бумажками с крестиками и в елочку. Все бегут из деревни в лес, кто с чем.

– А мы с женой, – рассказывает Иван Яковлевич, – дружно взялись за лопаты: ямы у нас были уже заготовлены, картошку, зерно – все закопали. Утварь хозяйственную тоже зарыли. Кое-что взяли с собой необходимое для жизни в лесу. Со скотиной чудеса вышли, у нас вся скотина – коза да корова. Ну, конечно, скотина по-своему тоже понимает: война. Прижались в углах, трепещут и не хотят выходить. Зовем – не слушают. Пробовали тащить – сопротивляются. А уже не только снаряды рвутся – начинают и пчелки свистеть. Пришлось бросить скотину: самим бы спастись. И только мы со двора – им без людей страшно – они к нам и выходят из ворот: коза вперед, а за ней и корова. Да так вот и пошли в порядке: коза впереди, корова позади, а посреднике заяц любимый.

Так пришли мы в партизанский овраг и заняли пустые землянки. Вскоре снаряды и бомбы со всех сторон весь лес нам изломали, мы же сидим ни живы, ни мертвы в своих землянках. Недели две прошло, и мы уже и смысл потеряли и не знаем даже, немцы ли у нас в Меринове или все еще наши держатся.

Однажды утром на рассвете глядим, а краем оврага идет наш весь партизанский отряд и впереди Филат Антоныч, весь ободранный, черный лицом, босиком, в одних американских голенищах, и на месте стеклянного глаза дыра.

– Живо смывайтесь, – кричат нам, – немцы далеко, деревня цела, идите, очищайте нам землянки!
Мы, конечно, радешеньки, живо собрались, идем в прежнем порядке: коза впереди, корова позади, у меня за плечами дареный дробовик, у Авдотьи Ивановны заяц.

– Стой, любезный, – дивится Филат Антоныч, – да никак это ты, Руська?

И только назвал «Руська», заяц повернул к нему голову и заработал губами.

– Я же велел тебе застрелить его, – сказал Кумачев, – и ты мне соврал, что убил?

– Не соврал, Филат Антоныч, нет, – ответил я, – ты меня спросил тогда: «Убил?» А я ответил вежливо: «Вы слышали?» И ты мне: «Да, слышал».

– Ах, ты, плут, – засмеялся Филат Антоныч.

– Нет, – отвечаю, – я не плут, а это вот она, супруга моя, по женскому чувству к домашней скотине валенком в Руську – он шмыг под печь, а я весь заряд ввалил в печь.

Посмеялись, тем все и кончилось.

После этого рассказа председателя Авдотья Ивановна повеселела и говорит:

– Вот ты бранил меня за ружье, что не могла я, баба, понять неоценимую вещь. А Руська? Не кинь я валенком, ты бы, по мужицкому усердию своему, убил бы его. Бабьим умом, а все-таки лучше тебя, мужика, сделала. Ружье неоценимое. Нет, батюшка, ружье – вещь деловая и наживная, а заяц был – и нет. И другого такого Руськи не будет. И никогда на свете такого зайца не было, чтобы охотнику ружье приносил.

**«Муравьи»**

Я устал на охоте за лисицами, и мне захотелось где-нибудь отдохнуть. Но лес был завален глубоким снегом, и сесть было некуда. Случайно взгляд мой упал на дерево, вокруг которого расположился гигантский, засыпанный снегом муравейник.

Я взбираюсь вверх, сбрасываю снег, разгребаю сверху этот удивительный муравьиный сбор из хвоинок, сучков, лесных соринок и сажусь в тёплую ямку в муравейнике. Муравьи, конечно, об этом ничего не знают: они спят глубоко внизу.

Несколько повыше муравейника, где в этот Раз я отдыхал, кто-то содрал с дерева кору, и белая древесина, довольно широкое кольцо, была покрыта густым слоем смолы. Колечко прекращало движение соков, и дерево неминуемо должно было погибнуть. Бывает, такие кольца на деревьях делает дятел, но он не может сделать так чисто.

Скорее всего, подумал я, кому-нибудь нужна была кора, чтобы сделать коробочку для сбора лесных ягод.

Отдохнув хорошо на муравейнике, я ушёл и вернулся случайно к нему, когда стало совсем тепло и муравьи проснулись и поднялись наверх.

Я увидел на светлом пораненном смолистом кольце дерева какое-то тёмное пятно и вынул бинокль, чтобы рассмотреть подробней. Оказалось — это были муравьи: им зачем-то понадобилось пробиться через покрытую смолой древесину вверх.

Нужно долго наблюдать, чтобы понять муравьиное дело; много раз я наблюдал в лесах, что муравьи постоянно бегают по дереву, к которому прислонен муравейник, только я не обращал на это внимания: велика ли штука муравей, чтобы разбираться настойчиво, куда и зачем он бежит или лезет по дереву! Но теперь оказалось, что не отдельным муравьям зачем-то, а всем муравьям необходима была эта свободная дорога вверх по стволу из нижнего этажа дерева, быть может, в самые высокие. Смолистое кольцо было препятствием, и это поставило на ноги весь муравейник.

В сегодняшний день в муравейнике была объявлена всеобщая мобилизация.

Весь муравейник вылез вверх, и всё государство, в полном составе тяжёлым шевелящимся пластом собралось вокруг осмолённого кольца.

Впереди шли муравьи-разведчики. Они пытались пробиться наверх и по одному застревали и погибали в смоле. Следующий разведчик пользовался трупом своего товарища, чтобы продвинуться вперёд. В свою очередь, он делался мостом для следующего разведчика.

Наступление шло широким, развёрнутым строем, и на наших глазах белое кольцо темнело и покрывалось чёрным: это передние муравьи самоотверженно бросались в смолу и своими телами устилали путь для других.

Так в какие-нибудь полчаса муравьи зачернили смолистое кольцо и по этому бетону побежали свободно наверх по своим делам. Одна полоса Муравьёв бежала вверх, другая вниз туда и сюда.

И закипела работа по этому живому мосту, как по коре.

**Ёж**

Раз шёл я по берегу нашего ручья и под кустом заметил ежа. Он тоже заметил меня, свернулся и затукал: тук-тук-тук. Очень похоже было, как если бы вдали шёл автомобиль. Я прикоснулся к нему кончиком сапога – он страшно фыркнул и поддал своими иголками в сапог.

– А, ты так со мной! – сказал я и кончиком сапога спихнул его в ручей.

Мгновенно ёж развернулся в воде и поплыл к берегу, как маленькая свинья, только вместо щетины на спине были иголки. Я взял палочку, скатил ею ежа в свою шляпу и понёс домой.

Мышей у меня было много. Я слышал – ёжик их ловит, и решил: пусть он живёт у меня и ловит мышей.

Так положил я этот колючий комок посреди пола и сел писать, а сам уголком глаза всё смотрю на ежа. Недолго он лежал неподвижно: как только я затих у стола, ёжик развернулся, огляделся, туда попробовал идти, сюда, выбрал себе наконец место под кроватью и там совершенно затих.

Когда стемнело, я зажёг лампу, и – здравствуйте! – ёжик выбежал из-под кровати. Он, конечно, подумал на лампу, что это луна взошла в лесу: при луне ежи любят бегать по лесным полянкам.

И так он пустился бегать по комнате, представляя, что это лесная полянка.

Я взял трубку, закурил и пустил возле луны облачко. Стало совсем как в лесу: и луна и облако, а ноги мои были как стволы деревьев и, наверное, очень нравились ёжику: он так и шнырял между ними, понюхивая и почёсывая иголками задники у моих сапог.

Прочитав газету, я уронил её на пол, перешёл в кровать и уснул.

Сплю я всегда очень чутко. Слышу – какой-то шелест у меня в комнате. Чиркнул спичкой, зажёг свечу и только заметил, как ёж мелькнул под кровать. А газета лежала уже не возле стола, а посредине комнаты. Так я и оставил гореть свечу и сам не сплю, раздумывая:

„Зачем это ёжику газета понадобилась?" Скоро мой жилец выбежал из-под кровати - и прямо к газете; завертелся возле неё, шумел, шумел, наконец, ухитрился: надел себе как-то на колючки уголок газеты и потащил её, огромную, в угол.

Тут я и понял его: газета ему была как в лесу сухая листва, он тащил её себе для гнезда. И, оказалось, правда: в скором времени ёж весь обернулся газетой и сделал себе из неё настоящее гнездо. Кончив это важное дело, он вышел из своего жилища и остановился против кровати, разглядывая свечу-луну.

Я подпустил облака и спрашиваю:

– Что тебе ещё надо? Ёжик не испугался.

– Пить хочешь?

Я встал. Ёжик не бежит.

Взял я тарелку, поставил на пол, принёс ведро с водой и то налью воды в тарелку, то опять волью в ведро, и так шумлю, будто это ручеёк поплёскивает.

– Ну иди, иди. – говорю. – Видишь, я для тебя и луну устроил, и облака пустил, и вот тебе вода...

Смотрю: будто двинулся вперёд. А я тоже немного подвинул к нему своё озеро. Он двинется, и я двину, да так и сошлись.

– Пей, – говорю окончательно. Он и залакал. А я так легонько по колючкам рукой провёл, будто погладил, и всё приговариваю:

– Хороший ты малый, хороший! Напился ёж, я говорю:

– Давай спать. Лёг и задул свечу.

Вот не знаю, сколько я спал, слышу: опять у меня в комнате работа.

Зажигаю свечу, и что же вы думаете? Ёжик бежит по комнате, и на колючках у него яблоко. Прибежал в гнездо, сложил его там и за другим бежит в угол, а в углу стоял мешок с яблоками и завалился. Вот ёж подбежал, свернулся около яблок, дёрнулся и опять бежит, на колючках другое яблоко тащит в гнездо.

Так вот и устроился у меня жить ёжик. А сейчас я, как чай пить, непременно его к себе на стол и то молока ему налью в блюдечко – выпьет, то булочки дам – съест.

**Лесной хозяин**

Расскажу, как было в лесу перед самым дождем. Наступила такая тишина, было такое напряжение в ожидании первых капель, что, казалось, каждый листик, каждая хвоинка силилась быть первой и поймать первую каплю дождя. И так стало в лесу, будто каждая мельчайшая сущность получила все собственное, отдельное выражение.

Так вхожу я к ним в это время, и мне кажется: они все, как люди, повернулись ко мне лицами и по глупости своей у меня, как у бога, просят дождя.

- А ну-ка, старик, - приказал я дождю, - будет тебе всех нас томить, ехать так ехать, начинай! Но дождик в этот раз меня не послушался, и я вспомнил о своей новой соломенной шляпе: пойдет дождь - и шляпа моя пропала. Но тут, думая о шляпе, увидел я необыкновенную елку. Росла она, конечно, в тени, и оттого сучья у нее когда-то были опущены вниз. Теперь же, после выборочной рубки, она очутилась на свету, и каждый сук ее стал расти кверху. Наверно, и нижние суки со временем поднялись бы, но ветки эти, соприкоснувшись с землей, выпустили корешки и прицепились... Так под елкой с поднятыми вверх сучьями внизу получился хороший шалашик. Нарубив лапнику, я уплотнил его, сделал вход, устелил внизу сиденье. И только уселся, чтобы начать новую беседу с дождем, как вижу - против меня совсем близко пылает большое дерево. Быстро схватил я с шалашника лапник, собрал его в веник и, стегая по горящему месту, мало-помалу пожар затушил раньше, чем пламя пережгло кору дерева кругом и тем сделало бы невозможным движение сока.

Вокруг дерева место не было обожжено костром, коров тут не пасли, и не могло быть подпасков, на которых все валят вину за пожары. Вспомнив свои детские разбойничьи годы, я сообразил, что смолу на дереве поджег скорей всего какой-нибудь мальчишка из озорства, из любопытства поглядеть, как будет гореть смола. Спустившись в свои детские годы, я представил себе, до чего же это приятно - взять чиркнуть спичкой и поджечь дерево.

Мне стало ясно, что вредитель, когда загорелась смола, вдруг увидел меня и скрылся тут же где-нибудь в ближайших кустах. Тогда, сделав вид, будто я продолжаю свой путь, посвистывая, удалился я с места пожара и, сделав несколько десятков шагов вдоль просеки, прыгнул в кусты и возвратился на старое место и тоже затаился.

Не долго пришлось мне ждать разбойника. Из куста вышел белокурый мальчик лет семи-восьми, с рыжеватым солнечным запеком, смелыми, открытыми глазами, полуголый и с отличным сложением. Он враждебно поглядел в сторону просеки, куда я ушел, поднял еловую шишку и, желая пустить ее куда-то в меня, так размахнулся, что перевернулся даже вокруг себя. Это его не смутило; напротив, он, как настоящий хозяин лесов, заложил обе руки в карманы, стал разглядывать место пожара и сказал:

- Выходи, Зина, он ушел!

Вышла девочка, чуть постарше, чуть повыше и с большой корзинкой в руке.

- Зина, - сказал мальчик, - знаешь что? Зина глянула на него большими спокойными глазами и ответила просто:

- Нет, Вася, не знаю.

- Где тебе! - вымолвил хозяин лесов. - Я хочу сказать тебе: не приди тот человек, не погаси он пожар, то, пожалуй, от этого дерева сгорел бы весь лес. Вот бы мы тогда поглядели!

- Дурак ты! - сказала Зина.

- Правда, Зина, - сказал я, - вздумал чем хвастаться, настоящий дурак!

И как только я сказал эти слова, задорный хозяин лесов вдруг, как говорят, 'улепетнул'.

А Зина, видимо, и не думала отвечать за разбойника, она спокойно глядела на меня, только бровки ее поднимались чуть-чуть удивленно.

При виде такой разумной девочки мне захотелось обратить всю эту историю в шутку, расположить ее к себе и потом вместе обработать хозяина лесов. Как раз в это время напряжение всех живых существ, ожидающих дождя, дошло до крайности.

- Зина, - сказал я, - смотри, как все листики, все травинки ждут дождя. Вон заячья капуста даже на пень забралась, чтобы захватить первые капли.

Девочке моя шутка понравилась, она милостиво мне улыбнулась.

- Ну, старик, - сказал я дождю, - будет тебе всех нас томить, начинай, поехали!

И в этот раз дождик послушался, пошел. А девочка серьезно, вдумчиво сосредоточилась на мне и губки поджала, как будто хотела сказать: 'Шутки шутками, а все-таки дождик пошел'.

- Зина, - сказал я поспешно, - скажи, что у тебя в этой большой корзине?

Она показала: там было два белых гриба. Мы уложили в корзинку мою новую шляпу, закрыли папоротником и направились от дождя в мой шалаш. Наломав еще лапнику, мы укрыли его хорошо и залезли.

- Вася! - крикнула девочка. - Будет дурить, выходи! И хозяин лесов, подгоняемый проливным дождем, не замедлил явиться.

Как только мальчик уселся рядом с ними и захотел что-то сказать, я поднял вверх указательный палец и приказал хозяину:

- Ни гугу!

И все мы трое замерли.

Невозможно передать прелести пребывания в лесу под елкой во время теплого летнего дождя. Хохлатый рябчик, гонимый дождем, ворвался в середину нашей густой елки и уселся над самым шалашом. Совсем на виду под веточкой устроился зяблик. Ежик пришел. Проковылял мимо заяц. И долго дождик шептал и шептал что-то нашей елке. И. мы долго сидели, и все было так, будто настоящий хозяин лесов каждому из нас отдельно шептал, шептал, шептал...

**Хромка**

Плыву на лодочке, а за мной по воде плывет Хромка - моя подсадная охотничья уточка. Эта уточка вышла из диких уток, а теперь она служит мне, человеку, и своим утиным криком подманивает в мой охотничий шалаш диких селезней.

Куда я ни поплыву, всюду за мной плывет Хромка. Займется чем-нибудь в заводи, скроюсь я за поворотом от нее, крикну:

«Хромка!» - и она бросит все и подлетает опять к моей лодочке. И опять: куда я, туда и она.

Горе нам было с этой Хромкой! Когда вывелись утята, мы первое время держали их в кухне. Это пронюхала крыса, прогрызла дырку в углу и ворвалась. На утиный крик мы прибежали как раз в то время, когда крыса тащила утенка за лапку в свою дырку. Утенок застрял, крыса убежала, дырку забили, но только лапка у нашего утенка осталась сломанная.

Много трудов положили мы, чтобы вылечить лапку: связывали, бинтовали, примачивали, присыпали - ничего не помогло: утенок остался хромым навсегда.

Горе хромому в мире всяких зверушек и птиц: у них что-то вроде закона - больных не лечить, слабого не жалеть, а убивать. Свои же утки, свои же куры, индюшки, гуси - все норовят тюкнуть Хромку. Особенно страшны были гуси. И что ему, кажется, великану, такая безделушка - утенок, - нет, и гусь с высоты своей норовит обрушиться на каплюшку и сплюснуть, как паровой молот.

Какой умишко может быть у маленького хромого утенка? Но все-таки и он своей головенкой величиной с лесной орех сообразил, что единственное спасение его - в человеке. И нам по-человечески было жалко его: эти беспощадные птицы всех пород хотят лишить его жизни, а чем он виноват, если крыса вывернула ему лапку?

И мы по-человечески полюбили маленькую Хромку.

Мы взяли ее под защиту, и она стала ходить за нами и только за нами. И когда выросла она большая, нам не нужно было ей, как другим уткам, подстригать крылья. Другие утки - дикари - считали дикую природу своей родиной и всегда стремились туда улететь. Хромке некуда было улетать от нас. Дом человека стал ее домом.

Так Хромка в люди вышла.

Вот почему теперь, когда я плыву на лодочке своей на утиную охоту, моя уточка сама плывет за мной. Отстанет, снимется с воды и подлетает. Займется рыбкой в заводи, заверну я за кусты, скроюсь и только крикну:

«Хромка!», вижу - летит моя птица ко мне.

**«Птицы под снегом»**

У рябчика в снегу два спасения: первое — это под снегом тепло ночевать, а второе — снег тащит с собой на землю с деревьев разные семечки на пищу рябчику. Под снегом рябчик ищет семечки, делает там ходы и окошечки вверх для воздуха. Идёшь иногда в лесу на лыжах, смотришь — показалась головка и спряталась: это рябчик. Даже и не два, а три спасения рябчику под снегом: и тепло, и пища, и спрятаться можно от ястреба.

Тетерев под снегом не бегает, ему бы только спрятаться от непогоды. Ходов больших, как у рябчика под снегом, у тетеревов не бывает, но устройство квартиры тоже аккуратное: назади отхожее место, впереди дырочка над головой для воздуха.

Серая куропатка у нас не любит зарываться в снегу и летает ночевать в деревню на гумна. Перебудет куропатка в деревне ночь с мужиками и утром летит кормиться на то же самое место. Куропатка, по моим приметам, или дикость свою потеряла, или же от природы неумная. Ястреб замечает её перелеты, и, бывает, она только вылетать собирается, а ястреб уже дожидается её на дереве.

Тетерев, я считаю, много умнее куропатки. Раз было со мной в лесу: иду я на лыжах, день красный, хороший мороз. Открывается передо мной большая поляна, на поляне высокие березы, и на берёзах тетерева кормятся почками. Долго я любовался, но вдруг все тетерева бросились вниз и зарылись в снегу под берёзами. В тот же миг является ястреб, ударился на то место, где зарылись тетерева, и заходил. Ну, вот, прямо же над самыми тетеревами ходит, а догадаться не может копнуть ногой и схватить. Мне это было очень любопытно, думаю: «Ежели он ходит, значит — их чувствует под собой, и ум у ястреба велик, а такого нет, чтобы догадаться и копнуть лапой на какой- нибудь вершок-два в снегу — значит, это ему не дано».

Ходит и ходит.

Захотелось мне помочь тетеревам, и стал я скрадывать ястреба. Снег мягкий, лыжа не шумит, но только начал я объезжать кустами поляну, вдруг провалился в можжуху1 по самое ухо. Вылезал я из провалища, конечно, уж не без шума и думал: «Ястреб это услыхал и улетел». Выбрался, и о ястребе уж и не думаю, а когда поляну объехал и выглянул из-под дерева — ястреб прямо передо мной на короткий выстрел ходит, у тетеревов над головами. Я выстрелил, он лёг. А тетерева до того напуганы ястребом, что и выстрела не испугались. Подошёл я к ним, шарахнул лыжей, и они из-под снега один за другим как начнут, как начнут вылетать, кто никогда не видал — обомрёт.

Я много всего в лесу насмотрелся, мне все это просто, но всё-таки дивлюсь на ястреба: такой умнейший, а на этом месте оказался таким дураком. Но всех дурашливей я считаю куропатку. Избаловалась она между людьми на гумнах, нет у неё, как у тетерева, чтобы, завидев ястреба, со всего маху броситься в снег. Куропатка от ястреба только голову спрячет в снег, а хвост весь на виду. Ястреб берет её за хвост и тащит, как повар на сковороде.

**Выскочка**

Наша охотничья собака, лайка, приехала к нам с берегов Бии, и в честь этой сибирской реки так и назвали мы ее Бией. Но скоро эта Бия почему-то у нас превратилась в Биюшку, Биюшку все стали называть Вьюшкой.

Мы с ней мало охотились, но она прекрасно служила у нас сторожем. Уйдешь на охоту, и будь уверен: Вьюшка не пустит чужого.

Веселая собачка эта Вьюшка, всем нравится: ушки, как рожки, хвостик колечком, зубки беленькие, как чеснок. Достались ей от обеда две косточки. Получая подарок, Вьюшка развернула колечко своего хвоста и опустила его вниз поленом. Это у нее означало тревогу и начало бдительности, необходимой для защиты, — известно, что в природе на кости есть много охотников. С опущенным хвостом Вьюшка вышла на траву-мураву и занялась одной косточкой, другую же положила рядом с собой.

Тогда, откуда ни возьмись, сороки: скок, скок! — и к самому носу собаки. Когда же Вьюшка повернула голову к одной — хвать! Другая сорока с другой стороны хвать! — и унесла косточку.

Дело было поздней осенью, и сороки вывода этого лета были совсем взрослые. Держались они тут всем выводком, в семь штук, и от своих родителей постигли все тайны воровства. Очень быстро они оклевали украденную косточку и, недолго думая, собирались отнять у собаки вторую.

Говорят, что в семье не без урода, то же оказалось и в сорочьей семье. Из семи сорок одна вышла не то чтобы совсем глупенькая, а как-то с заскоком и с пыльцой в голове. Вот сейчас тоже было: все шесть сорок повели правильное наступление, большим полукругом, поглядывая друг на друга, и только одна Выскочка поскакала дуром.

— Тра-та-та-та-та! — застрекотали все сороки.

Это у них значило:

— Скачи назад, скачи как надо, как всему сорочьему обществу надо!

— Тра-ля-ля-ля-ля! — ответила Выскочка.

Это у нее значило:

— Скачите как надо, а я — как мне самой хочется.

Так за свой страх и риск Выскочка подскакала к самой Вьюшке в том расчете, что Вьюшка, глупая, бросится на нее, выбросит кость, она же изловчится и кость унесет.

Вьюшка, однако, замысел Выскочки хорошо поняла и не только не бросилась на нее, но, заметив Выскочку косым глазом, освободила кость и поглядела в противоположную сторону, где правильным полукругом, как бы нехотя — скок и подумают — наступали шесть умных сорок.

Вот это мгновение, когда Вьюшка отвернула голову, Выскочка улучила для своего нападения. Она схватила кость и даже успела повернуться в другую сторону, успела ударить по земле крыльями, поднять пыль из-под травы-муравы. И только бы еще одно мгновение, чтобы подняться на воздух, только бы одно мгновеньишко! Вот только, только бы подняться сороке, как Вьюшка схватила её за хвост и кость выпала…

Выскочка вырвалась, но весь радужный длинный сорочий хвост остался у Вьюшки в зубах и торчал из пасти ее длинным острым кинжалом.

Видел ли кто-нибудь сороку без хвоста? Трудно даже вообразить, во что превращается эта блестящая пестрая и проворная воровка яиц, если ей оборвать хвост.

Бывает, деревенские озорные мальчишки поймают слепня, воткнут ему в зад длинную соломинку и пустят эту крупную сильную муху лететь с таким длинным хвостом, — гадость ужасная! Ну, так вот, это муха с хвостом, а тут — сорока без хвоста; кто удивился мухе с хвостом, еще больше удивится сороке без хвоста. Ничего сорочьего не остается тогда в этой птице, и ни за что в ней не узнаешь не только сороку, а и какую-нибудь птицу: это просто шарик пестрый с головкой.

Бесхвостая Выскочка села на ближайшее дерево, все другие шесть сорок прилетели к ней. И было видно по всему сорочьему стрекотанию, по всей суете, что нет в сорочьем быту большего сраму, как лишиться сороке хвоста.

**Изобретатель**

**В** одном болоте на кочке под ивой вывелись дикие кряковые утята. Вскоре после этого мать повела их к озеру по коровьей тропе. Я заметил их издали, спрятался за дерево, и утята подошли к самым моим ногам. Трех из них я взял себе на воспитание, остальные шестнадцать пошли себе дальше по коровьей тропе.

Подержал я у себя этих черных утят, и стали они вскоре все серыми. После из серых один вышел красавец разноцветный селезень и две уточки, Дуся и Муся. Мы им крылья подрезали, чтобы не улетели, и жили они у нас на дворе вместе с домашними птицами: куры были у нас и гуси.

С наступлением новой весны устроили мы своим дикарям из всякого хлама в подвале кочки, как на болоте, и на них гнезда. Дуся положила себе в гнездо шестнадцать яиц и стала высиживать утят. Муся положила четырнадцать, но сидеть на них не захотела. Как мы ни бились, пустая голова не захотела быть матерью.

И мы посадили на утиные яйца нашу важную черную курицу - Пиковую Даму.

Пришло время, вывелись наши утята. Мы их некоторое время подержали на кухне, в тепле, крошили им яйца, ухаживали.

Через несколько дней наступила очень хорошая, теплая погода, и Дуся повела своих черненьких к пруду, и Пиковая Дама своих - в огород за червями.

- Свись-свись! - утята в пруду.

- Кряк-кряк! - отвечает им утка.

- Свись-свись! - утята в огороде.

- Квох-квох! - отвечает им курица.

Утята, конечно, не могут понять, что значит «квох-квох», а что слышится с пруда, это им хорошо известно.

«Свись-свись» - это значит: «свои к своим».

А «кряк-кряк» - значит: "вы - утки, вы - кряквы, скорей плывите!"

И они, конечно, глядят туда к пруду.

- Свои к своим!

И бегут.

- Плывите, плывите!

И плывут.

- Квох-квох! - упирается важная курица на берегу.

Они все плывут и плывут. Сосвистались, сплылись, радостно приняла их в свою семью Дуся; по Мусе они были ей родные племянники.

Весь день большая сборная утиная семья плавала на прудике, и весь день Пиковая Дама, распушенная, сердитая, квохтала, ворчала, копала ногой червей на берегу, старалась привлечь червями утят и квохтала им о том, что уж очень-то много червей, таких хороших червей!

- Дрянь-дрянь! - отвечала ей кряква.

А вечером она всех своих утят провела одной длинной веревочкой по сухой тропинке. Под самым носом важной птицы, прошли они, черненькие, с большими утиными носами; ни один даже на такую мать и не поглядел.

Мы всех их собрали в одну высокую корзинку и оставили ночевать в теплой кухне возле плиты.

Утром, когда мы еще спали, Дуся вылезла из корзины, ходила вокруг по полу, кричала, вызывала к себе утят. В тридцать голосов ей на крик отвечали свистуны.

На утиный крик стены нашего дома, сделанного из звонкого соснового леса, отзывались по-своему. И все-таки в этой кутерьме мы расслышали отдельно голос одного утенка.

- Слышите? - спросил я своих ребят. Они прислушались.

- Слышим! - закричали.

И пошли в кухню.

Там, оказалось, Дуся была не одна на полу. С ней рядом бегал один утенок, очень беспокоился и непрерывно свистел. Этот утенок, как и все другие, был ростом с небольшой огурец. Как же мог такой-то воин перелезть стену корзины высотой сантиметров в тридцать?

Стали мы об этом догадываться, и тут явился новый вопрос: сам утенок придумал себе какой-нибудь способ выбраться из корзины вслед за матерью или же она случайно задела его как-нибудь своим крылом и выбросила? Я перевязал ножку этого утенка ленточкой и пустил в общее стадо.

Переспали мы ночь, и утром, как только раздался в доме утиный утренний крик, мы - в кухню.

На полу вместе с Дусей бегал утенок с перевязанной лапкой.

Все утята, заключенные в корзине, свистели, рвались на волю и не могли ничего сделать. Этот выбрался. Я сказал:

- Он что-то придумал.

- Он изобретатель! - крикнул Лева.

Тогда я задумал посмотреть, каким же способом этот «изобретатель» решает труднейшую задачу: на своих утиных перепончатых лапках подняться по отвесной стене. Я встал на следующее утро до свету, когда и ребята мои и утята спали непробудным сном. В кухне я сел возле выключателя, чтобы сразу, когда надо будет, дать свет и рассмотреть события в глубине корзины.

И вот побелело окно. Стало светать.

- Кряк-кряк! - проговорила Дуся.

- Свись-свись! - ответил единственный утенок. И все замерло. Спали ребята, спали утята. Раздался гудок на фабрике. Свету прибавилось.

- Кряк-кряк! - повторила Дуся.

Никто не ответил. Я понял: «изобретателю» сейчас некогда - сейчас, наверно, он и решает свою труднейшую задачу. И я включил свет.

Ну, так вот я и знал! Утка еще не встала, и голова ее еще была вровень с краем корзины. Все утята спали в тепле под матерью, только один, с перевязанной лапкой, вылез и по перьям матери, как по кирпичикам, взбирался вверх, к ней на спину. Когда Дуся встала, она подняла его высоко, на уровень с краем корзины. По ее спине утенок, как мышь, пробежал до края - и кувырк вниз! Вслед за ним мать тоже вывалилась на пол, и началась обычная утренняя кутерьма: крик, свист на весь дом.

Дня через два после этого утром на полу появилось сразу три утенка, потом пять, и пошло и пошло: чуть только крякнет утром Дуся, все утята к ней на спину и потом валятся вниз.

А первого утенка, проложившего путь для других, мои дети так и прозвали Изобретателем.

**Говорящий грач**

Расскажу случай, какой был со мной в голодном году. Повадился ко мне на подоконник летать желторотый молодой грачонок. Видно, сирота был. А у меня в то время хранился целый мешок гречневой крупы. Я и питался все время гречневой кашей. Вот бывало прилетит грачонок, я посыплю ему крупы и спрашиваю:

— Кашки хочешь, дурашка?

Поклюет и улетит. И так каждый день, весь месяц. Хочу я добиться, чтобы на вопрос мой: «Кашки хочешь, дурашка?» — он сказал бы: «Хочу».

А он только желтый нос откроет и красный язык показывает.

— Ну, ладно! — рассердился я и забросил ученье.

К осени случилась со мной беда: полез я за крупой в сундук, а там нет ничего. Вот как воры обчистили: половина огурца была на тарелке, и ту унесли! Лег я спать голодный. Всю ночь вертелся. Утром в зеркало посмотрел — лицо все зеленое стало.

Стук, стук! — кто-то в окошко.

На подоконнике грач долбит в стекло.

«Вот и мясо!» — явилась у меня мысль.

Открываю окно — и хвать его. А он — прыг от меня на дерево. Я — в окно за ним к сучку. Он повыше. Я лезу. Он выше — и на самую макушку. Я туда не могу, очень качается. Он же, шельмец, смотрит на меня сверху и говорит:

— Хо-чешь каш-ки, ду-ра-шка?

**Предательская колбаса**

Ярик очень подружился с молодым Рябчиком и целый день с ним играл. Так, в игре, он провел неделю, а потом я переехал с ним из этого города в пустынный домик в лесу, в шести верстах от Рябчика. Не успел я устроиться и как следует осмотреться на новом месте, как вдруг у меня пропадает Ярик. Весь день я искал его, всю ночь не спал, каждый час выходил на терраску и свистел. Утром, только собрался было идти в город, в милицию, являются мои дети с Яриком: он, оказалось, был в гостях у Рябчика. Я ничего не имею против дружбы собак, но нельзя же допустить, чтобы Ярик без разрешения оставлял службу у меня!

— Так не годится, — сказал я строгим голосом. — Это, брат, не служба. А кроме того, ты ушел без намордника, значит, каждый встречный имеет право тебя застрелить. Безобразный ты пес!

Я все высказал суровым голосом, и он выслушал меня, лежа на траве, виноватый, смущенный, не Ярик — золотистый гордый ирландец, а какая-то рыжая, ничтожная, сплющенная черепаха.
— Не будешь больше ходить к Рябчику? — спросил я более добрым голосом.

Он прыгнул ко мне на грудь. Это у него значило:

«Никогда не буду, добрый хозяин».

— Перестань лапиться! — сказал я строго.

И простил.

Он покатался в траве, встряхнулся и стал обыкновенным хорошим Яриком.

Мы жили в дружбе недолго, всего только неделю, а потом он снова куда-то исчез. Вскоре дети, зная, как я тревожусь о нем, привели беглеца: он опять сделал Рябчику незаконный визит. В этот раз я не стал с ним разговаривать и отправил в темный подвал, а детей просил, чтобы в следующий раз они только известили меня, но не приводили и не давали там ему пищи. Мне хотелось, чтобы он вернулся по доброй воле.

В темном подвале путешественник пробыл у меня сутки. Потом, как обыкновенно, я серьезно поговорил с ним и простил. Наказание подвалом подействовало только на две недели. Дети прибежали ко мне из города:

— Ярик у нас!

— Так ничего же ему не давайте, — велел я. — Пусть проголодается и придет сам, а я подготовлю ему хорошую встречу.

Прошел день. Наступила ночь. Я зажег лампу, сел на диван, стал читать книгу. Налетело на огонь множество бабочек, жуков, все это стало кружиться возле лампы, валиться на книгу, на шею, путаться в волосах. Но закрыть дверь на террасу было нельзя, потому что это был единственный вход, через который мог явиться ожидаемый Ярик. Я, впрочем, не обращал внимания на бабочек и жуков, книга была увлекательной, и шелковый ветерок, долетая из леса, приятно шумел. Я и читал и слушал музыку леса.

Но вдруг мне что-то показалось в уголку глаза. Я быстро поднял голову, и это исчезло. Теперь я стал прилаживаться так читать, чтобы, не поднимая головы, можно было наблюдать порог. Вскоре там показалось нечто рыжее, стало красться в обход стола, и, я думаю, мышь слышней пробежала бы, чем как это большое подползало под диван. Только знакомое неровное дыхание подсказало мне, что Ярик был под диваном и лежал как раз подо мной. Некоторое время я читаю и жду, но терпения у меня хватило ненадолго. Встаю, выхожу на террасу и начинаю звать Ярика строгим голосом и ласковым, громко и тихо, свистать и даже трубить. Так уверил я лежащего под диваном, что ничего не знаю о его возвращении. Потом я закрыл дверь от бабочек и говорю вслух:

— Верно, Ярик уже не придет, пора ужинать.

Слово «ужинать» Ярик знает отлично. Но мне показалось, что после моих слов под диваном прекратилось даже дыхание.

В моем охотничьем столе лежит запас копченой колбасы, которая чем больше сохнет, тем становится вкуснее. Я очень люблю сухую охотничью колбасу и всегда ем ее вместе с Яриком. Бывало, мне довольно только ящиком шевельнуть, чтобы Ярик, спящий колечком, развернулся, как стальная пружина, и подбежал к столу, сверкая огненным взглядом.

Я выдвинул ящик — из-под дивана ни звука. Раздвигаю колени, смотрю вниз — нет ли там на полу рыжего носа. Нет, носа не видно. Режу кусочек, громко жую, заглядываю — нет, хвост не молотит. Начинаю опасаться, не показалась ли мне рыжая тень от сильного ожидания и Ярика вовсе и нет под диваном. Трудно думать, чтобы он, виноватый, не соблазнился даже колбасой — ведь он так любит ее. Если я, бывало, возьму кусочек, надрежу, задеру шкурку, чтобы можно было за кончик ее держаться пальцами и кусочек бы висел, как на нитке, то Ярик задерет нос вверх, стережет долго и вдруг прыгнет. Но мало того: если я успею во время прыжка отдернуть вверх руку с колбасой, то Ярик так и остается на задних ногах, как человек. Я иду с колбасой, и Ярик идет за мной на двух ногах, опустив передние лапы, как руки, и так мы обходим комнату и раз, и два, и даже больше. Я надеюсь в будущем посредством колбасы вообще приучить ходить его по-человечески и когда-нибудь во время городского гулянья появиться там под руку с рыжим хвостатым товарищем.

И так вот, зная, как Ярик любит колбасу, я не могу допустить, чтобы он был под диваном. Делаю последний опыт, бросаю вниз не кусочек, а только шкурку и наблюдаю. Но как внимательно я ни смотрю, ничего не могу заметить: шкурка исчезла как будто сама по себе. В другой раз я все-таки добился: видел, как мелькнул язычок.

Ярик тут, под диваном.

Теперь я отрезаю от колбасы круглый конец с носиком, привязываю нитку за носик и тихонечко спускаю вниз между коленками. Язык показался. Я потянул за нитку — язык скрылся. Переждав немного, спускаю опять — теперь показался нос, потом лапы.

Больше нечего в прятки играть: я вижу его и он меня видит. Поднимаю выше кусочек, Ярик поднимается на задние лапы, идет за мной, как человек, на двух ногах, на террасу, спускается по лесенке на четырех по-собачьи, опять поднимается, и так мы подходим к подвалу. Ну, вот теперь он понимает мою страшную затею и ложится на землю пластом, как черепаха. А я отворяю подвальную дверь и говорю:

— Пожалуйте, молодой человек!

**Лягушонок**

В полднях от горячих лучей солнца стал плавиться снег. Пройдет два дня, много три, и весна загудит. В полднях солнце так распаривает, что весь снег вокруг нашего домика на колесах покрывается какой-то черной пылью. Мы думали, где-то угли жгут. Приблизил я ладонь к этому грязному снегу, и вдруг — вот те угли! — на сером снегу стало белое пятно: это мельчайшие жучки-прыгунки разлетелись в разные стороны.

В полдневных лучах на какой-нибудь час или два оживают на снегу разные жучки, паучки, блошки, даже комарики перелетают. Случилось, талая вода проникла в глубь снега и разбудила спящего на земле под снежным одеялом маленького розового лягушонка. Он выполз из-под снега наверх, решил по глупости, что началась настоящая весна, и отправился путешествовать. Известно, куда путешествуют лягушки: к ручейку, к болотцу.

Случилось, в эту ночь как раз хорошо припорошило, и след путешественника легко можно было разобрать. След вначале был прямой, лапка за лапкой, к ближайшему болотцу. Вдруг почему-то след сбивается, дальше больше и больше. Потом лягушонок мечется туда и сюда, вперед и назад, след становится похожим на запутанный клубок ниток.

Что случилось, почему лягушонок вдруг бросил свой прямой путь к болоту и пытался вернуться назад?

Чтобы разгадать, распутать этот клубок, мы идем дальше и вот видим — сам лягушонок, маленький, розовый, лежит, растопырив безжизненные лапки.

Теперь все понятно. Ночью мороз взялся за вожжи и так стал подхлестывать, что лягушонок остановился, сунулся туда, сюда и круто повернул к теплой дырочке, из которой почуял весну.

В этот день мороз еще крепче натянул свои вожжи, но ведь в нас самих было тепло, и мы стали помогать весне. Мы долго грели лягушонка своим горячим дыханием — он все не оживал. Но мы догадались: налили теплой воды в кастрюльку и опустили туда розовое тельце с растопыренными лапками.

Крепче, крепче натягивай, мороз, свои вожжи — с нашей весной ты теперь больше не справишься. Не больше часа прошло, как наш лягушонок снова почуял своим тельцем весну и шевельнул лапками. Вскоре и весь он ожил.

Когда грянул гром и всюду зашевелились лягушки, мы выпустили нашего путешественника в то самое болотце, куда он хотел попасть раньше времени, и сказали ему в напутствие:

— Живи, лягушонок, только, не зная броду, не суйся в воду.

**Остров спасения**

Недолго пришлось нам дожидаться разлива. В одну ночь после сильного, очень теплого дождя воды прибавилось сразу на метр, и отчего-то невидимый ранее город Кострома с белыми зданиями показался так отчетливо, будто раньше он был под водой и только теперь из-под нее вышел на свет. Тоже и горный берег Волги, раньше терявшийся в снежной белизне, теперь возвышался над водой, желтый от глины и песка. Несколько деревень на холмиках были кругом обойдены водой и торчали, как муравейники.

На великом разливе Волги там и тут виднелись копеечки незалитой земли, иногда голые, иногда с кустарником, иногда с высокими деревьями. Почти ко всем этим копеечкам жались утки разных пород, и на одной косе длинным рядом, один к одному, гляделись в воду гуси-гуменники. Там, где земля была совсем затоплена и от бывшего леса торчали только вершинки, как частая шерсть, всюду эти шерстинки покрывались разными зверьками. Зверьки иногда сидели на ветках так густо, что обыкновенная какая-нибудь веточка ивы становилась похожа на гроздь черного крупного винограда.

Водяная крыса плыла к нам, наверно, очень издалека и, усталая, прислонилась к ольховой веточке. Легкое волнение воды пыталось оторвать крысу от ее пристани. Тогда она поднялась немного по стволу, села на развилочку.

Тут она прочно устроилась: вода не доставала ее. Только изредка большая волна, «девятый вал», касалась ее хвоста, и от этих прикосновений в воде рождались и уплывали кружочки.

А на довольно-таки большом дереве, стоящем, наверно, под водой на высоком пригорке, сидела жадная, голодная ворона и выискивала себе добычу. Невозможно бы ей было углядеть в развилочке водяную крысу, но на волне от соприкосновения с хвостом плыли кружочки, и вот эти-то кружочки и выдали вороне местопребывание крысы. Тут началась война не на живот, а на смерть.

Несколько раз от ударов клюва вороны крыса падала в воду, и опять взбиралась на свою развилочку, и опять падала. И вот совсем было уже удалось вороне схватить свою жертву, но крыса не желала стать жертвой вороны.

Собрав последние силы, так ущипнула ворону, что из нее пух полетел, и так сильно, будто ее дробью хватили. Ворона даже чуть не упала в воду и только с трудом справилась, ошалелая села на свое дерево и стала усердно оправлять свои перья, по-своему залечивать раны. Время от времени от боли своей, вспоминая о крысе, она оглядывалась на нее с таким видом, словно сама себя спрашивала: «Что это за крыса такая? Будто так никогда со мной и не бывало!»

Между тем водяная крыса после счастливого своего удара вовсе даже и забыла думать о вороне. Она стала навастривать бисерок своих глазок на желанный наш берег.

Срезав себе веточку, она взяла ее передними лапками, как руками, и зубами стала грызть, а руками повертывать. Так она обглодала дочиста всю веточку и бросила ее в воду. Новую же срезанную веточку она не стала глодать, а прямо с ней спустилась вниз и поплыла и потащила веточку на буксире. Все это видела, конечно, хищная ворона и провожала храбрую крысу до самого нашего берега.

Однажды мы сидели у берега и наблюдали, как из воды выходили землеройки, полевки, водяные крысы, и норки, и заюшки, и горностаюшки, и белки тоже сразу большой массой приплыли и все до одной держали хвостики вверх.

Каждую зверушку мы, как хозяева острова, встречали, принимали с родственным вниманием и, поглядев, пропускали бежать в то место, где полагается жить ее породе. Но напрасно мы думали, что знаем всех наших гостей. Новое знакомство началось словами Зиночки.

— Поглядите, — сказала она, — что же это делается с нашими утками!

Эти наши утки выведены от диких, и мы возили их для охоты: утки кричат и подманивают диких селезней на выстрел.

Глянули на этих уток и видим, что они отчего-то стали много темнее и, главное, много толще.

— Отчего это? — стали мы гадать, додумываться.

И пошли за ответом на загадку к самим уткам. Тогда оказалось, что для бесчисленного множества плывущих по воде в поисках спасения паучков, букашек и всяких насекомых наши утки были двумя островами, желанной сушей.

Они взбирались на плавающих уток в полной уверенности, что наконец-то достигли надежного пристанища и опасное странствование их по водам кончено. И так их было много, что утки наши толстели и толстели заметно у нас на глазах.

Так наш берег стал островом спасения для всех зверей — больших и маленьких.

**О чём шепчутся раки**

Удивляюсь на раков — до чего много, кажется, напутано у них лишнего: сколько ног, какие усы, какие клешни, и ходит хвостом наперёд, и хвост называется шейкой. Но всего более дивило меня в детстве, что когда раков соберут в ведро, то они между собой начинают шептаться. Вот шепчутся, вот шепчутся, а о чём, не поймёшь.

И когда скажут: «Раки перешептались», это значит — они умерли и вся их рачья жизнь в шёпот ушла.

В нашей речке Вертушинке раньше, в моё время, раков было больше, чем рыбы. И вот однажды бабушка Домна Ивановна с внучкой своей Зиночкой собрались к нам на Вертушинку за раками. Бабушка с внучкой пришли к нам вечером, отдохнули немного — и на реку. Там они расставили свои рачьи сеточки. Эти рачьи сачки у нас все делают сами: загибается ивовый прутик кружком, кружок обтягивается сеткой от старого невода, на сетку кладётся кусочек мяса или чего-нибудь, а лучше всего кусочек жареной и духовитой для раков лягушки. Сеточки опускают на дно. Учуяв запах жареной лягушки, раки вылезают из береговых печур, ползут на сетки. Время от времени сачки за верёвки вытаскивают кверху, снимают раков и опять опускают.

Простая эта штука. Всю ночь бабушка с внучкой вытаскивали раков, наловили целую большую корзину и утром собрались назад, за десять вёрст к себе в деревню. Солнышко взошло, бабушка с внучкой идут, распарились, разморились.

Им уже теперь не до раков, только бы добраться домой.

— Не перешептались бы раки, — сказала бабушка.

Зиночка прислушалась.

Раки в корзинке шептались за спиной бабушки.

— О чём они шепчутся? — спросила Зиночка.

— Перед смертью, внученька, друг с другом прощаются.

А раки в это время совсем не шептались. Они только тёрлись друг о друга шершавыми костяными бочками, клешнями, усиками, шейками, и от этого людям казалось, будто от них шёпот идёт. Не умирать раки собирались, а жить хотели. Каждый рак все свои ножки пускал в дело, чтобы хоть где-нибудь найти дырочку, и дырочка нашлась в корзинке, как раз чтобы самому крупному раку пролезть. Один рак вылез крупный, за ним более мелкие шутя выбрались, и пошло, и пошло: из корзинки — на бабушкину кацавейку, с кацавейки — на юбку, с юбки — на дорожку, с дорожки — в траву, а из травы — рукой подать речка.

Солнце палит и палит. Бабушка с внучкой идут и идут, а раки ползут и ползут. Вот подходят Домна Ивановна с Зиночкой к деревне. Вдруг бабушка остановилась, слушает, что в корзинке у раков делается, и ничего не слышит. А что корзинка-то лёгкая стала, ей и невдомёк: не павши ночь, до того уходилась старуха, что и плеч не чует.

— Раки-то, внученька, — сказала бабушка, — должно быть, перешептались.

— Померли? — спросила девочка.

— Уснули, ответила бабушка, не шепчутся больше.

Пришли к избе, сняла бабушка корзинку, подняла тряпку:

— Батюшки родимые, да где же раки-то?

Зиночка заглянула — корзина пустая. Поглядела бабушка на внучку — и только руками развела.

— Вот они, раки-то, — сказала она, — шептались! Я думала — они это друг с другом перед смертью, а они это с нами, дураками, прощались.

**Матрешка в картошке**

В прежнее время в нашей деревне пастуха никогда не нанимали, все, бывало, дети пасут, а дед Михей на пригорке сидит, лапти плетет, детей пасет, чтобы не зевали, ворон не считали.

Бывает с дедом, забудется, лапти тачает, свои годы считает и не видит, что дети все полезли на дерево Москву смотреть. Очнется дед, глянет в сторону детей – все на дереве. Глянет на овец – овцы все в овсе рассыпались. Кони во ржи, как в море, плавают, коровы в лугах, а свиньи все на собственной же дедовой полосе картошку рылом роют.

Тут бывает плохо ребятишкам, хорошо еще успеют с дерева слезть и разбежаться, а не успел, – то прямо и попадает в Михеевы мохнатые лапы.

Выдумали однажды наши пастухи вот какую игру. Есть славный цветок ромашка, в нем солнышко, и к желтому солнышку во все стороны приставлены белые лучи. Вот если оторвать все лучики и оставить только один – это будет поп с одной косичкой, если два – с двумя косичками, три – с тремя, и так, сколько ребят играет, столько можно наделать попов с косичками, только один оставляется без косичек, лысый. Потом каждый пастух вырывает себе на лугу ямку, сундучок, и непременно с крышкой из дерна, сундучок к сундучку, сколько детей, столько и сундучков. И когда наши пастухи всякий себе выкопали по сундучку, то выбрали старосту и отдали ему всех своих попов. Староста разложил попов в разные сундучки, конечно, никто не мог заметить, какой поп пришелся к какому сундучку, – это вот и надо теперь отгадать. А у каждого отгадчика заготовлен крючок; делается обыкновенно из сучковатого прутика. Ну, скажем, что мой поп с одной косичкой лежит во втором сундучке, и это верно пришлось, то я свой крючок вешаю на первый сук дерева, не угадал – крючок остается при мне, пока не угадаю. Но если я во второй раз угадаю, то перевешиваю свой крючок на второй сук, повыше, значит, поближе к Москве. Так, если кто счастлив, из разу в раз перевешивает крючок все выше и выше, да так вот и едет в Москву и за ним все едут, кто поскорей, кто потише. В этот раз первым ехал Антошка Комар, а самой последней девочка – Рыбка.
Но вдруг счастье переменилось. Рыбка забрала верх, а Комар остался в самом низу.

Так ехали, ехали, и вот, наконец, Рыбка сверху кричит:

– Москва!

Дальше ехать некуда, на верхушке дерева больше и сучьев нет.

Между тем дед Михей вовсе заплелся, сидит себе на горке и не видит, что дети по дереву едут в Москву, а самая большая, черная с белым поясом, свинья Матрешка пошла на его собственную полосу картошку копать. Эта Матрешка самая озорная свинья, и как только она ушла, то и все свиньи за ней, а свиньи ушли, как и кони, и коровы, и овцы. Рыбка сверху первая заметила проказу Матрешки и крикнула:

– Слезай, ребята, Матрешка – в картошке!

Сразу все бросились с дерева и пригнали Матрешку. Стали наказывать Матрешку, как обыкновенно: ставят свинью рылом к реке, и кто-нибудь из пастухов садится на нее верхом, сзади хлестнут прутиком, и свинья мчит всадника до речки. Вот затем и ставят Матрешку рылом к реке, чтобы ей дальше бежать было некуда, а то мало ли куда она может увезти седока. После, когда один прокатится, и другой так, все по очереди Рыбке надо бы первой катиться, она же первая и в Москву приехала и первая заметила Матрешку в картошке, но ребята все прокатились, свинья и рот разинула, а Рыбка все ждала свою очередь.

Вовсе ребята свинью измучили, и такой дед чудак, ничего не замечает, весь в свои старые годы ушел. Но Рыбка от своего не отступается, садится верхом на свинью. В это время Антошка Комар, тот, что первый ехал поначалу в Москву а потом оказался самый последний, взял и устроил скверную штуку Комар и был во всем виноват.

У свиней как бывает с хвостами муха сядет, и то она сейчас же хвостик спрячет между окороками. А Комар взял да и надел Матрешке на хвостик берестяную трубочку и сам изо всей силы потянул за кончик Матрешка со всех ног бросилась бежать и как почувствовала на хвосте трубочку, то и думала, что боль от нее, и как только добежала до реки против самого глубокого омута – бух в омут и вместе с Рыбкою.

И скрылась.

– Бух! – в воду.

– Ах! – пастухи.

И только круги на тихой воде да по кругам плавает берестяная трубочка.

Дед Михей лапти плетет, ничего не видит, ничего не слышит, весь в свои старые годы ушел.

Онемели ребята от страху, стоят и не шевельнутся, и только во все глаза смотрят на страшное место, где плавает берестяная трубочка. Вдруг из воды пузыри и целый фонтан, потом пятачок нарыльный свиной, уши, на ушах руки, спина, и на спине Рыбка.

Взвизгнули от радости все пастухи.

Думали, вот как только свинья до берега доплывет, Рыбка непременно на сухом месте соскочит. Но вода Матрешке только силы подбавила из воды она как выскочила, прямо в лес. Рыбка не успела соскочить и вместе с Матрешкой исчезла в лесу.

Наш лес, говорят, на сто верст раскинулся, но кто говорит на сто – до ста и считать только может. Куда больше наш лес, и в лесу этом зверья всякого видимо-невидимо волк, медведь, рысь, всякая всячина. В этот лес и увезла Матрешка маленькую Рыбку.

Скрылась девочка в темном лесу, и в это время дед Михей поднимает, наконец, от лаптей свою старую седую голову. Глянул дед да так и обмер все деревенские свиньи на его же полосе картошку копают, с полдесятины овцы положили овса, кони от слепней в рожь забрались – высокая рожь, только головы конские видны.

Старый бросился к пастухам, а те же стоят себе кучкой и все в лес смотрят за реку.

Оторопел дед:

– Что же, ай вы стеклянные?

Дед Михей показал на коней во ржи, на свиней в картошке.

Пастухи все посмотрели туда и не тронулись, стоят молчат.

Тут дед и заметил – Рыбки нет между ними, спрашивает:

– Где Рыбка?

Все молчат, боятся сказать: Рыбка – дедова внучка.

Тут хорошую выбрал дед Михей прутовинку и на Комара. И все Комар рассказал, одно утаил, как он берестяную трубочку Матрешке на хвостик надел и за кончик больно потянул.

Дед больше не стал допытываться, бежит скорее в деревню, сход собирает. Бросились враз мужики все спасать рожь, овес, картошку, а когда с этим покончили, скорей за реку в лес и там рассыпались в разные стороны. Так у них в поисках вся ночь прошла. Солнышко уже высоко было, когда дядя Митрофан вдруг загукал сбор. Увидал дядя Митрофан белую рубашку на кусту, глянул под куст, а там голенькая Рыбка в мох закопалась и вот как сладко спит. И какая оказалась хозяйственная: мокрую рубашонку на куст повесила, и славно она у нее за ночь высохла. Собрались мужики, веселые пошли домой, горевали только, что волк свинью съел. Но и то хорошо обошлось: оказалось, Матрешка еще ночью к своей хозяйке Матрене из лесу прибежала. В тот день постановили на сходе, чтобы у нас, как и в других деревнях, был настоящий пастух и детей этим трудным делом больше не мучить.

Оставили детям одно только занятие – приглядывать за гусями. Но гуси весь день на реке, и за ними глядеть легко. Теперь наши дети без опаски ездят в Москву.

**Охота за бабочкой**

Жулька, моя молодая мраморно-голубая охотничья собака, носится как угорелая за птичками, за бабочками, даже за крупными мухами до тех пор, пока горячее дыхание не выбросит из ее пасти язык. Но и это не останавливает ее.

Вот нынче была у всех на виду такая история.

Желтая бабочка-капустница привлекла внимание. Жизель бросилась за ней, подпрыгнула и промахнулась. Бабочка замотыляла дальше. Жулька за ней - хап! Бабочке хоть бы что: летит, мотыляет, как будто смеется.

Хап! - мимо. Хап, хап! - мимо и мимо.

Хап, хап, хап - и бабочки в воздухе нет.

Где наша бабочка? Среди детей началось волненье. "Ах, ах!" - только и слышалось.

Бабочки нет в воздухе, капустница исчезла. Сама Жизель стоит неподвижная, как восковая, повертывая удивленно голову то вверх, то вниз, то вбок.

- Где наша бабочка?

В это время горячие пары стали нажимать внутри Жулькиной пасти, - у собак ведь нет потовых желез. Пасть открылась, язык вывалился, пар вырвался, и вместе с паром вылетела бабочка и, как будто совсем с ней ничего не было, - замотыляла себе по-над лугом.

До того измаялась с этой бабочкой Жулька, до того, наверно, ей трудно было сдерживать дыхание с бабочкой во рту, что теперь, увидев бабочку, вдруг сдалась. Вывалив язык, длинный, розовый, она стояла и глядела на летящую бабочку глазами, ставшими сразу и маленькими и глупыми.

Дети приставали к нам с вопросом:

- Ну, почему же это нет у собаки потовых желез?

Мы не знали, что им сказать.

Школьник Вася Веселкин им ответил:

- Если бы у собак были железы и не надо было бы им хахать, то они бы давным давно уже всех бабочек переловили и скушали.

**Кот**

Когда я вижу из окна, как пробирается в саду Васька, я кричу ему самым нежным голосом:

- Ва-сень-ка!

И он в ответ, я знаю, тоже мне кричит, но я немного на ухо туг и не слышу, а только вижу, как после моего крика на его белой мордочке открывается розовый рот.

- Ва-сень-ка! - кричу ему.

И догадываюсь - он кричит мне:

- Сейчас я иду!

И твердым прямым тигровым шагом направляется в дом.

Утром, когда свет из столовой через приоткрытую дверь виднеется еще только бледной щелкой, я знаю, что у самой двери в темноте сидит и дожидается меня кот Васька. Он знает, что столовая без меня пуста, и боится: в другом месте он может продремать мой вход в столовую. Он давно сидит тут и, как только я вношу чайник, с добрым криком бросается ко мне.

Когда я сажусь за чай, он садится мне на левую коленку и следит за всем: как я колю сахар щипчиками, как режу хлеб, как намазываю масло. Мне известно, что соленое масло он не ест, а принимает только маленький кусочек хлеба, если ночью не поймал мышь.

Когда он уверится, что ничего вкусного нет на столе - корочки сыра или кусочка колбасы, то он опускается на моей коленке, потопчется немного и засыпает.

После чая, когда встаю, он просыпается и отправляется на окно. Там он повертывается головой во все стороны, вверх и вниз, считая пролетающих в этот ранний утренний час плотными стаями галок и ворон. Из всего сложного мира жизни большого города он выбирает себе только птиц и устремляется весь целиком только к ним.

Днем - птицы, а ночью - мыши, и так весь мир у него: днем при свете черные узкие щелочки его глаз, пересекающие мутный зеленый круг, видят только птиц, ночью открывается весь черный светящийся глаз и видит только мышей.

Сегодня радиаторы теплые, и оттого окно сильно запотело, и коту очень плохо стало галок считать. Так что же вы думаете мой кот! Поднялся на задние лапы, передние на стекла и ну протирать, ну протирать! Когда же протер и стало яснее, то опять спокойно уселся, как фарфоровый, и опять, считая галок, принялся головой водить вверх, вниз, и в стороны.

Днем - птицы, ночью - мыши, и это весь Васькин мир.

**Луговка**

Летят по весне журавли.

Мы плуги налаживаем. В нашем краю старинная примета: в двенадцатый день после журавлей начинается пахота под яровое.

Пробежали вешние воды. Выезжаю пахать.

Наше поле лежит в виду озера. Видят меня белые чайки, слетаются. Грачи, галки – все собираются на мою борозду клевать червя. Спокойно так идут за мной во всю полосу белые и черные птицы, только чибис один, по-нашему, деревенскому, луговка, вот вьется надо мной, вот кричит, беспокоится. Самки у луговок очень рано садятся на яйца. «Где-нибудь у них тут гнездо», – подумал я.

– Чьи вы, чьи вы? – кричит чибис.

– Я-то, – отвечаю, – свойский, а ты чей? Где гулял? Что нашел в теплых краях?

Так я разговариваю, а лошадь вдруг покосилась и – в сторону плуг вышел из борозды. Поглядел я туда, куда покосилась лошадь, и вижу – сидит луговка прямо на ходу у лошади. Я тронул коня, луговка слетела, и показалось на земле пять яиц. Вот ведь как у них: невитые гнезда, чуть только поцарапано, и прямо на земле лежат яйца, – чисто, как на столе.

Жалко стало мне губить гнездо: безобидная птица. Поднял я плуг, обнес и яйца не тронул.

Дома рассказываю детишкам: так и так, что пашу я, лошадь покосилась, вижу – гнездо и пять яиц.

Жена говорит:

– Вот бы поглядеть!

– Погоди, – отвечаю, – будем овес сеять, и поглядишь.

Вскоре после того вышел я сеять овес, жена боронит. Когда я дошел до гнезда, остановился. Маню жену рукой. Она лошадь окоротила, подходит.

– Ну вот, – говорю, – любопытная, смотри.

Материнское сердце известное: подивилась, пожалела, что яйца лежат беззащитно, и лошадь с бороной обвела.

Так посеял я овес на этой полосе и половину оставил под картошку. Пришло время сажать. Глядим мы с женой на то место, где было гнездо, – нет ничего: значит, вывела.

С нами в поле картошку садить увязался Кадошка. Вот эта собачонка бегает за канавой по лугу, мы не глядим на нее: жена садит, я запахиваю. Вдруг слышим – во все горло кричат чибисы. Глянули туда, а Кадошка, баловник, гонит по лугу пятерых чибисенков, – серенькие, длинноногие, и уже с хохолками, и все как следует, только летать не могут и бегут от Кадошки на своих на двоих. Жена узнала и кричит мне:

– Да ведь это наши!

Я кричу на Кадошку; он и не слушает – гонит и гонит.

Прибегают эти чибисы к воде. Дальше бежать некуда. «Ну, – думаю, – схватит их Кадошка!» А чибисы – по воде, и не плывут, а бегут. Вот диво-то! Чик-чик-чик ножками – и на той стороне.

То ли вода еще была холодная, то ли Кадошка еще молод и глуп, только остановился он у воды и не может дальше. Пока он думал, мы с женой подоспели и отозвали Кадошку.